Турухтанные острова



Нелли Шульман

18+

Нелли Шульман

Турухтанные острова

«Автор»
2026

Шульман Н.

Турухтанные острова / Н. Шульман — «Автор», 2026

Сборник рассказов и одноактных пьес о современности, недалеком и далеком прошлом. Нью-Йорк и Венеция, Петербург и Израиль, Москва и Старая Ладога

© Шульман Н., 2026
© Автор, 2026

Нелли Шульман
Турухтанные острова

Содержание
Темная комната
Ангел
Улица Пушкина
Сын Давидов
Илюша
Звезда морей
Блаженные кролики Флорентина
Плохие земли
Окрасился месяц багрянцем
Алкионовы дни
Скромное недоумение любви
Перегной
Другая жизнь
Кислица
Конец прекрасной эпохи
Турухтанные острова

Тёмная комната

Отпевание передавали по Зуму и Матвееву пришлось подняться в три ночи. Он сидел, вытянув босые ноги в пижамных брюках, слушая тишину за окном. Экран Матвеев отключил, а слабый звук то и дело пропадал и в конце концов Матвеев избавился и от него.

Матвеев не чувствовал себя виноватым за чёрный квадрат вместо лица, хотя обычно на лекциях он просил студентов включить камеры. Окно тоже оставалось тёмным, потому что весна, как говорила покойная бабушка Матвеева, едва замочила подол и дни ещё не повернули на тепло.

Деревянный дом, куда университет поселил Матвеева, стоял в четверти часа от водопадов, на которые здесь рассыпалась местная река, прорвавшаяся сквозь гранитные скалы, где четыреста лет назад обосновались рыбаки, потом сменившиеся ткачами и лесопилами.

Фабрики давно закрыли и сонный городок крутился вокруг университета. Два раза в день по железнодорожному мосту проползал поезд с юга, разворачивающийся на местной станции. Иногда Матвееву казалось, что он и правда на краю обитаемого мира.

Отпевали его коллегу и друга в той церкви, куда Матвеев и сам заглядывал в прошлой жизни и его взгляд, спрятанный чёрным экраном, выхватывал из толпы лица знакомых. Друг умер в сорок два, ровесником Матвеева, от сердечного приступа.

В первый день после известия, огорошившего его на рассвете, Матвеев ловил себя на том, что то и дело касается левой стороны груди – и на семинаре со студентами третьего курса, где они старались говорить только по-русски, и на занятиях с первокурсниками, сражающимися с падежами, и на консультации с аспиранткой, милой девушкой, писавшей об американских путешественниках в царской России, и в библиотеке, где Матвеев занимался собственным путешественником, русским авантюристом и полиглотом, попавшим в революционный Бостон.

Матвеев не жаловался на сердце, но пока священник махал кадилом над закрытым гробом друга, у него что-то щемило внутри. Не выдержав, он вышел на влажную от ночной росы

террасу, за которой лежал лес, откуда на участок Матвеева приходили робкие олени. Осенью, едва приехав сюда, он увидел, тоже покуривая на рассвете, пронесшуюся сквозь медные кусты рыжую лису.

Рядом с террасой рос подорожник, добравшийя сюда через океан четыреста лет назад. Над головой Матвеева гасли последние звезды, а на востоке разгоралась заря. Сейчас гроб должны были выносить из церкви и ставить в автобус. Матвеев, несколько лет назад похоронивший родителей, помнил бюрократическую сторону смерти. Вытащив телефон, он открыл страницу друга. Последней стояла запись о поисках подержанного велосипеда для его старшей дочки, уже подростка. Посмотрев на свой, прислоненный к перилам велосипед, на котором он ездил в университет, Матвеев заплакал, шмыгая носом.

Он не плакал с прошлой осени, когда, оказавшись здесь после долгих перелетов и пересадок, ошарашенный и сонный, он зашёл в пустынные комнаты домика, где, как ему объяснили, селили приглашённых на семестр или на целый учебный год преподавателей. Матвеев вытянул этот счастливый билет, год спокойствия, необременительных лекций и тихой работы над монографией о том самом русском путешественнике, никому сейчас, кроме самого Матвеева, не нужном.

Матвеев всё равно упорно читал документы восемнадцатого века, представляя беднягу Василия Петровича, заброшенного в Америку во время войны за независимость, бредущего по заснеженной равнине неподалеку от Бостона, рискуя быть принятым за шпиона всеми, кому он попадался по дороге.

Самого Матвеева в бостонском аэропорту ни о чем не спрашивали, хотя он подготовил аккуратную папку с документами. В прошлой жизни, в альма матер, чьих стен он не покидал четверть века, сначала студентом, потом аспирантом, а потом доцентом, коллеги всегда хвалили его тщательно продуманные лекции.

Матвеев ожидал допроса, но скучающий офицер только мазнул глазами по его профессорской, как сказали ему в американском посольстве, визе. У него даже не спросили, сколько он собирается здесь оставаться.

—Учебный год, — Матвеев посчитал на пальцах, — апрель, май, июнь и всё.

В конце июля его виза заканчивалась и он не знал, что случится дальше.

—Случится кофе, — сердито сказал Матвеев, потушив сигарету, — работа случится. Об остальном я подумаю потом.

Он ещё посидел, вглядываясь в нежную зелень весеннего леса. Совсем рассвело и Матвеев разглядел за кустами проблеск рыжего. Из школьной биологии он помнил, что у лис сейчас должны появляться детёныши.

—Это отец, — Матвеев поднялся, — он носит пропитание матери и лисятам.

Лис отчего—то показался ему добрым знаком. Издалека, от перекрестка с единственным на эти несколько отдалённых улиц магазином, загудели машины и Матвеев вернулся в комнату, где трансляция закончилась и на экране ноутбука темнел черный квадрат.

Живя в предыдущей, шумной и грязной, но со знакомым языком стране, Матвеев ловил себя на чувстве, раньше известном ему только из книг. Тоска по родине казалась ему вымышленной вещью, больше подходящей для названия сентиментальной мелодии, однако просыпаясь ночами в очередной квартирке, по которым Матвеев кочевал, присматривая за псами и котами, экономя деньги, он глядел в сумеречное пространство комнаты, слушая своё прерывистое дыхание. Путь домой казался ему невозможным, но иногда Матвеев с каким-то отчаяньем думал о дешевом билете на автобус, который привез бы его обратно на север.

Заметив его беспокойство, пес или кот подходили к кровати, тыкаясь головой в его руку и Матвеев, встряхиваясь, говорил:

—Ничего, старина, это пройдет.

Теперь он оказался ещё дальше от покинутой им страны, в городке с растрескавшимся асфальтом окраинных улиц, с сосновыми лесами и шумом океана за спиной, который уже не будил Матвеева по ночам. Обычно он ездил в университет на велосипеде, но из-за сегодняшнего ночного бдения голова немного кружилась, а сердце сбивчиво стучало и Матвеев решил пойти пешком.

Он жил на улице с самым американским из всех возможных названий, осенённой, согласно своему имени, высокими вязами. Путь от выкрашенного в белый цвет крыльца его лазоревого домика до фальшивой готики университетских зданий в центре городка занимал у него сорок минут. Любимым местом Матвеева по дороге был выкрашенный в изумрудный цвет, ржавеющий мост тридцатых годов, перекинутый над бурлящей рекой, в этом месте рассыпающейся на водопады. Сюда долетали океанские чайки и Матвеев всегда останавливался на мосту, ловя их дальние голоса.

Магазин, который в его детстве называли бы районным, тоже стоял рядом с мостом и, проходя мимо, Матвеев по привычке замедлил шаг. Хозяин магазина, по счастливой случайности, обзавёлся единственной на весь город витриной, в которой Матвееву нравилось отражаться. Обычно он не любил свой высокий рост, длинные руки и сгорбленные от кабинетной работы плечи, но это стекло почему-то решило ему польстить.

Рассматривая себя, Матвеев перевел глаза на деревянный щит, где, по провинциальной привычке, вывешивали афиши и обьявления. Свой велосипед он купил, тоже сорвав бумажку с телефоном с такого же щита, только в университете.

«*В эту субботу*, — прочел Матвеев, — *ярмарка в городском парке. Фермеры, ремесленники, аттракционы. Рынок подержанных вещей и ежегодная встреча любителей аналоговой фотографии. Сделайте свои первые снимки и навестите темную комнату!*»

Городской парк зеленел свежей листвой выше по течению реки, там, где раскачивался цепной пешеходный мост. Достав из сумки на плече ежедневник, Матвеев записал на субботе «*Ярмарка*».

Весь день, перемещаясь по университету, кружа между башнями, двигаясь по арочным коридорам, выходя на просторные лужайки, где уже белели первоцветы, сидя в излюбленном библиотечном углу, Матвеев думал о своем деде, заведующим фотоателье. Дед умер, не дожив до семидесяти, когда Матвеев учился в младших классах, однако сейчас, в начале пятого десятка, профессор ловил себя на семейном сходстве. Он даже полысел так же, как дед – рано и начиная с висков.

Ателье было районным заведением, где снимаются на паспорт и куда приводят праздничнo одетых детей. Первый Матвеев появился в нем ещё в позапрошлом веке. Выдержав три революции, войну и блокаду, ателье закрылось со смертью деда, словно обессилев и опустев, уступив место миру, где фотография уже не была чем-то вроде магии.

Ребенком Матвеев именно так думал о старомодном трехногом аппарате, которым орудовал дед, о тусклом свете красной лампочки из-за портьеры, о таинственных растворах, сквозь которые проступали очертания человеческих лиц. Фотографии, развешанные на бечёвках, удерживаемые бельевыми прищепками, походили на манускрипты алхимика, а острый, химический запах темной комнаты, казалось, сопровождал деда и когда он выходил из ателье.

Подростком Матвеев нашел в домашнем архиве журналы с другими фотографиями деда, с четкостью архитектурных линий и зыбким занавесом дождя, с черно-белой зимой и серыми тонами ранней весны, среди которой он и стоял сейчас, закончив работу в библиотеке и раздумывая, не заглянуть ли ему в одно из немногих городских кафе или пойти домой, где Матвеев потихоньку возился на участке, собирая выступившие из-под растаявшего снега палые листья, уже поддающиеся напору свежей травы.

—Долой капитализм! – услышал он с окруженной гранитными скамьями площади у библиотеки, где каждую неделю кто-то митинговал и собирал подписи под петициями. Заметив

красные флаги и лозунг «**Революционные коммунисты Америки**», Матвеев обошел толпу по дуге.

Солнце клонилось к западу, заливая медным светом верхушки деревьев и остроконечные шпили университета, единственные в этом плоском городке. Какая-то женщина, стоя на скамье, нацелила на толпу камеру и ветер взметнул её черные волосы. К Матвееву двинулись двое юнцов с явным намерением получить пожертвовавние или подпись и он поспешно свернул за угол.

Вечером он долго сидел на крыльце, окунувшись в нежное сияние заката, ожидая проблеска рыжей шерсти среди деревьев.

Когда лис отправился на ночную охоту, умиротворенный Матвеев вернулся в тёмную комнату, к белёсому свету компьютерного экрана. Он долго слагал буквы в слова, бормоча каждое, перекатывая на языке звуки родной речи.

Обычно обеденный перерыв Матвеев проводил с книгой и кофе, устраиваясь на одной из лавочек, во множестве разбросанных вокруг зеленеющего даже зимой газона, но сегодня накрапывал мелкий дождь и Матвеев укрылся от него в низком здании факультета искусств, где всегда было очень светло из-за стеклянной крыши, а вокруг спиральной лестницы в центре здания выставляли то странные суставчатые скульптуры, сваренные из стали, то не менее странные крутящиеся деревянные конструкции.

На этот раз пространство заняли чёрно-белыми фотографиями, на которых Матвеев узнал город, в котором он ещё никогда не бывал, прилетев прямо в Бостон. Всем известный силуэт проступал на снимках словно вторым планом, паря над головой старика, толкающего магазинную тележку, отражась в витрине прачечной, где женщина в инвалидной коляске с неопрятной болонкой на руках разгадывала кроссворд.

Бродя между щитами, Матвеев стал доверять глазу фотографа, а в конце наткнулся на пришпиленное к стене объявление. Имя оказалось русским, но Матвеев знал, что в Америке его тоже любят. Фамилия фотографа напомнила Матвееву о гравюрах в старинном томе рассказов о великих географических открытиях. Ребенком, болея, он раскрашивал портреты конкистадоров цветными карандашами.

Из объявления выходило, что фотограф, у которой оказалось несколько премий и собственное профессорство, прочтёт у них несколько лекций.

—И примет участие в ярмарке, — Матвеев нашёл номер аудитории, где сейчас шла лекция. — Она снимает только на аналоговую пленку и сама обрабатывает фотографии.

Ему захотелось посмотреть на фотографа, не дожидаясь ярмарки, на которой Матвеев хотел, сам не зная зачем, купить аналоговую камеру, которая, как подозревал профессор, обошлась бы ему даже дешевле велосипеда. Матвеев не брал в руки камеру со времён школы, с тех пор, как умер его дед.

Двери в здешних аудиториях тоже оказались стеклянными и Матвееву показалось неудобным вставать прямо напротив. Спрятавшись за стеной из матовых блоков, он украдкой взглянул внутрь.

Давешняя женщина, фотографировавшая коммунистическую демонстрацию, расхаживала вдоль подиума. Аудиторию освещал яркий луч проектора. Она двинулась к двери и Матвеев, подхватив кофе с книжкой, сбежал по спиральной лестнице в вестибюль, где гомонили попавшие под дождь, отряхивающие куртки и зонты первокурсники.

В оставшиеся дни недели Матвеев избегал факультета искусств, а в субботу, отмахав пешком полчаса до городского парка, он первым делом наткнулся на выплеснувшиеся на соседние улицы вагончики с мусорной, как ее называла бабушка Матвеева, едой. На него повеяло детским запахом жареных в масле пирожков, варёных сосисок с жёлтой завитушкой горчицы на пластиковой тарелке, сладким ароматом накрученной на палку розовой сахарной ваты. В толпе бродили родители с колясками и тряпочными конструкциями, из которых торчали головы и

босые ножки младенцев. Дети капали на тротуар мороженым, гомонили в очереди к мужику в бейсболке, орудовавшему тележкой, где внутри пластикового куба подскакивала, взрывалась воздушная кукуруза.

Матвееву захотелось, как в детстве, купить наполненный опилками, обтянутый разноцветной фольгой шарик на тонкой резинке, который так славно скакал, отталкиваясь от ладони. Он услышал фырчание автомата с газировкой и воркотню бабушки, которая, не доверяя общественным стаканам, всегда клала в дерматиновую сумку свой.

Подростком Матвеев сам стоял в очереди на небогатые аттракционы того времени и стрелял в тире, уставленном уродливыми плюшевыми игрушками. Здесь, на входе в парк, нашёлся такой же, и так же крутились качели на цепочке, раскачивались наполненные детьми лодки, а с деревянной эстрады неслась безголосый рок. Только музыка из громкоговорителей оказалась другой, но Матвеев приноровился к здешним скрипкам и похожему на песни его детства аккордеону.

В фермерских рядах он наткнулся на пережившие зиму, переложенные соломой яблоки в деревянных ящиках, на тыквы прошлой осени, на вагончик с устрицами на льду, которых Матвеев, по заветам родной поэзии, немного боялся.

Купив у тётушки, заправляющей корзинами с выпечкой, буханку почти русского хлеба на закваске, Матвеев отыскал вагончик с сыром. Рядом бородатые парни разливали пиво ручной работы. Найдя свободную скамейку в глубине парка, Матвеев устроил себе настоящий пикник.

Ветер трепал растянутый между соснами транспарант с немного кривой надписью «**Ежегодная встреча любителей аналоговой фотографии**». Уложив в тряпичную авоську с эмблемой колледжа недоеденные хлеб и сыр, Матвеев направился к раскладным столам и открытым багажникам машин, среди которых бродили и совсем древние старики и татуированные ребята с девчонками, от которых Матвеев никогда бы не ожидал увлечения чем-то старомодным.

Камеру он нашел сразу и профессору показалось, что это тот самый фотоаппарат, который он держал в руках подростком, тридцать лет назад. Взглянув на его уверенные движения, продавец не стал ничего объяснять. В благодарность за его молчание Матвеев купил у него и чёрно-белую плёнку и старый футляр, напомнивший ему о том, которым пользовался дед. Всё вместе сложилось в сумму, не показавшуюся Матвееву очень уж большой.

Неподалеку стоял фургончик с пристроенной палаткой, за которой мерно гудел генератор. «**Тёмная комната**», — прочел Матвеев объявление. «**Проявите свои снимки прямо сейчас**». Повесив камеру на плечо, профессор решительно направился туда.

В матвеевском детстве такой красноватый, магический свет переливался под дверью тесной кладовки, где дед проявлял снимки. Кое-какие профессор нашёл, разбирая после смерти родителей квартиру, где он вырос и где сейчас жили исправно платящие, но чужие люди. Фотографии деда лежали в чемодане, запертом в шкафу за тысячи километров отсюда, но Матвееву захотелось увидеть хоть одну из них на голых стенах своего нынешнего пристанища.

Ступив в прохладную полутьму, он заметил в проеме чёрных занавесей движение. Давешний фотограф наклонялась и вскидывала руки и Матвеев понял, что она развешивает проявленные фотографии.

Ее тёмные волосы метались по спине, напоминая ведьмовской танец. Озираясь вокруг, Матвеев едва не вошёл в подушку на полу, откуда донеслось недовольное ворчание. Собачка оскалила зубы и Матвеев улыбнулся.

—Извини. Ты, кажется, тоже помесь дворняжки и таксы.

Фотограф всё занималась своим делом и он опустил футляр на раскладной стол, рядом с перевернутой вверх переплётом книжкой в бумажной обложке. Матвеев узнал издание, по которому он преподавал в колледже и ему не надо было искать тот самый рассказ. Он помнил

эти слова наизусть с той поры, когда учитель читал их в классе и Матвеев, тогда подросток, бросил разрисовывать поля тетради и не отрываясь, слушал до самого конца.

—Тогда я и решил стать учителем словесности, — сказал он недоверчиво щурящейся собаке. – Это о тебе. «Увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «ppp… нга-нга-нга-нга… ppp …».

Фотограф повернулась к занавесям и Матвеев, по своей привычке загадал желание.

—Она не кусается, — сказала женщина, выходя наружу и Матвеев понял, что его желание исполнится.

—Её зовут Каштанка? – поинтересовался Матвеев.

Фотограф неожиданно перешла на русский, который, как понял профессор, у нее был выученным.

—Нет, Мушка, — она улыбнулась. – Извините, я услышала ваш акцент, но если вы хотите, то мы можем вернуться к английскому.

Она говорила с приятной старомодностью матвеевского поколения.

—Так и есть, — профессор вспомнил её биографию, прочитанную на выставке, — она младше меня на десять лет. Она, наверное, учила русский в университете.

—У вас пленка? — кивнула фотограф на камеру. — Вы хотите её проявить? Извините, — она спохватилась, — меня зовут Аня.

—Дмитрий, — ответил Матвеев и она взяла со стола книжку.

—В точности как здесь.

—Да, — кивнул профессор.

Длинные уши рыжей собаки развевались на ветру и Матвеев, перекрикивая шум ветра, заорал:

—Она не упадёт в воду?

Мушка носилась по обросшим водорослями прибрежным камням. Аня опустила фотоаппарат, который, как выяснил Матвеев, оказался почти ее ровесником.

—Если и упадёт, то сегодня слабый прибой, — отозвалась она. — Идите дальше, Дмитрий.

Сначала она пыталась называть его по имени и отчеству, но Матвеев решительно сказал:

—Тогда мы окажемся в неравном положении, потому что в Америке отчества не приняты.

Заехав за ним воскресным утром на потрёпанном фургончике, Аня показала ему, как она выразилась, технику.

—Это Лейка моего отца, — объяснила она, — камере лет сорок. В студии я снимаю Хассельбладом, который я тоже получила в наследство, как и саму студию. Мой отец был известным фотографом, но он умер молодым.

Её синие, океанской лазури глаза погрустнели и Матвеев не стал ничего спрашивать, вместо этого кивнув.

—Я тоже из семьи фотографов, если можно так сказать. Мой дед работал в ателье, ещё при Советском Союзе, — он повел рукой, — и снимал для себя.

Матвееву захотелось показать Ане работы деда, но он только заметил:

—Я здесь с августа, но ни разу не был на океане. Автобус сюда почти не ходит, а машину я не вожу.

Здешнее побережье оказалось таким, каким мечтал его увидеть Матвеев. Низкие северные сосны поднимались над белым песком, шуршал прибой, а по кромке воды чья-то невидимая рука разбросала, словно играя, обточенные морем серые валуны. Они приехали на пляж не в сезон и перед Матвеевым простиралось несколько миль пустынной косы.

Ветер топорщил мелкий здесь океан и Аня, опять фотографируя его, заметила:

—В этих местах надо долго брести до настоящей глубины, поэтому Мушка в безопасности.

Собака с упоением носилась по воде, а Матвеев шел вперёд, то засовывая руки в карманы провощенной куртки, то останавливаясь и смотря вдаль. В первый раз с его детских лет профессора фотографировали не для документов и Матвеев почувствовал странную близость с Аней, неслышно ступающей вокруг него по песку, иногда забегающей вперед.

В очередной раз остановившись, профессор, сам не зная отчего, сказал:

—У меня днями умер друг в России. У него сердце не выдержало. Он был моим ровесником и...

Она не фотографировала, опустив камеру, смотря на его лицо и Матвеев вздохнул.

—Я теперь стал думать, что случится дальше. В общем, это неважно. Но вы так и не сказали мне, почему выучили русский язык.

—У меня есть родственница из России, — коротко ответила Аня, — она живёт в глубинке и я часто езжу к ней. Пойдёмте, — подогнала она Матвеева, — свет пока хороший.

Просторное небо, нависшее над океаном, лучилось жемчужным сиянием, отражающимся в ее глазах.

Мушка, выбравшись из воды, отряхнулась и Матвеев, шагая вперёд, сказал:

—Вы сегодня уезжаете домой?

Ему захотелось попросить Аню остаться, но профессор только искоса взглянул на ее разрумянившуюся от ветра щеку.

—Да, — она сунула камеру в карман куртки, — плёнка закончилась. Я пришлю вам фото по...

—Я не дал вам свой электронный адрес, — спохватился Матвеев и Аня покачала головой:

—Я стараюсь не пользоваться компьютером. По обычной почте, ждите письма дней через десять.

Матвеев не знал, что кто-то ещё пользуется обычной почтой.

—Буду ждать, — ответил он.

Мушка, принеся в зубах палочку, ринулась по склону дюны к припаркованному на растрескавшемся асфальте фургончику.

—Пора и нам выпить кофе, — Аня улыбнулась.

Выглянувшее из-за облаков солнце окрасило океан в цвет ее глаз. Матвеев в старомодной манере подал ей руку и Аня не отняла своей ладони. Собака лаяла у фургончика и они, скользя по песку, поднялись наверх.

Конверт оказался в почтовом ящике Матвеева на девятый день. По местной привычке, шест с облупившимся ящиком стоял у хлипкого штакетника, огораживающего по-весеннему неухоженный палисадник. Не ожидая, что колледж потратится на садовника, Матвеев прошлой осенью нашёл в кладовке большие ножницы и привел в порядок кусты, один из которых неожиданно оказался местной ивой, недавно выбросившей совсем русские пушистые сережки.

Матвеев редко ходил в церковь, но посчитал это знаком. В детстве тугие ветви ивы приносила домой в кошёлке бабушка и Матвеев любил осторожно касаться их пальцем. Перед Вербным воскресеньем Матвеев, не ожидая от себя такой организованности, созвонился с маленькой православной церковью неподалёку от их городка. Колледж одобрил поездку его первокурсников и профессор сел в машину одного их них с пуком ивовых ветвей.

—Тогда я и попросил в церкви, чтобы моя жизнь изменилась, — Матвеев вертел конверт, — но я не предполагал, что так.

Напомнив себе, что ещё ничего не произошло, профессор пошел в кабинет за канцелярскими ножницами. Ему не хотелось рвать конверт, надписанный её небрежным почерком. Матвеев поймал себя на желании сунуть всё письмо в потайной карман на форзаце его еже-

недельника. Из конверта выскользнуло фото и сложенная бумажка. Матвеев решил оставить снимок на потом.

Её русский почерк оказался выученным по прописям.

«*Надеюсь, что портрет придётся вам по душе*, — писала она. — *Получилось больше десятка фотографий и вы можете приехать в Нью-Йорк и выбрать лучшие. Если меня не будет дома, то возьмите ключ под горшком с японским клёном у двери*».

Справившись по карте, Матвеев понял, что она живёт с видом на воду. После их поездки на пляж Матвеев стал скучать по низкому северному горизонту, сливающемуся с бесконечным простором воды. Бережно уложив конверт и записку в блокнот, он поднял фотографию, полную прозрачного света ранней весны, отражающегося в его глазах. Профессор и не знал, что он может быть таким.

—Я должен увидеть остальные снимки, — решил он. — Здесь всего лишь ночь пути.

В выходные никто не заметил бы его отсутствия. Собираясь сюда, Матвеев ожидал от коллег знакомой ему, бывающей навязчивой американской дружелюбности, но здесь преподавали замкнутые потомки местных рыбаков, обходящиеся только коротким приветсвием.

Бедняга Василий Петрович, мотаемый судьбой по революционной Америке, не забирался севернее Бостона и никогда не бывал в нынешнем пристанище Матвеева.

—Но народ всё равно один и тот же, — пробормотал профессор.

Он помнил наизусть дневниковые записи Василия Петровича.

«*Люди здесь основательные и степенные, вроде наших поморов*, — Матвеев улыбнулся—. *Зазря они рта не откроют, однако ж при нужде никто без помощи не останется*».

На следующий день, в золотом сиянии низкого заката, профессор топтался на обочине улицы рядом с колледжем, где собралась кучка пассажиров автобуса, который шел в Нью-Йорк с ещё более дальнего севера.

Никогда раньше Матвеев не чувствовал себя так возлюбленным Богом и не предполагал, что ощутит Его заботу в автобусе, режущем серебристой пулей благословенные просторы ранней весны. Деревья стояли торжественными храмовыми колоннами, обвитыми плющом. Нижние, оголенные ветви ещё торчали серыми палками, но наверху уже трепетала нежная зелень листвы. Они мчались на юг и Матвеев задремал, стукаясь виском о стекло.

Он проснулся на рассвете, когда на горизонте, среди робкой голубизны неба, напоминающей ему распущенную на мокрой бумаге акварельную лазурь, уже устремлялись ввысь башни великого города.

Сидя в громыхающем вагоне метро, неумолимо катящемся к нужной ему остановке, Матвеев с почти забытым наслаждением почувствовал себя дома. Любя тишину и одиночество, он всё равно ценил силу города.

Покинув автобус в самом его центре, профессор отдался на волю людских волн, на милость той невидимой, но могущественной силы, заставляющей мигать светофоры, передвигающей машины и автобусы, пропускающей его через турникеты.

Матвеев много раз видел этот город в кино и, едва ступив на тротуар унылой улицы на задворках узнанного им вокзала, он понял, что всё виденное и прочтенное им – правда. Профессор знал такую особенность и за его родным городом и за ещё несколькими, где вымысел и реальность накладывались друг на друга, проступая послойно, теряя размытую неуверенность и обретая чёткие очертания, словно на фотографической бумаге, опущенной в цинковую ванночку.

Правдой были ползущие в пробке жёлтые такси, утреннее солнце, цепляющееся за вершины небоскребов, бублик, который голодный Матвеев съел на ходу и второй, который он запил кофе, сидя на скамейке в оживающем после зимы парке, где он сделал первые за тридцать лет кадры, вытащив из рюкзака заряженную камеру.

Ему показалось неудобным сразу ехать в район, где жила Аня и Матеев пошатался по просыпающемуся субботнему городу, поняв, что здесь, как и в его родных местах, о главном говорят не карты, а камни и небо.

Ближе к обеду он нашел себя на берегу большой воды, по которой сновали тоже жёлтые паромы и вспомнил о бедняге Василии Петровиче, приплывшем сюда с Мартиники с тайным грузом оружия и сразу арестованном британцами.

«*Полный несгибаемого русского духа, я попытался пробраться на американскую сторону реки Гудзон*», — пробормотал Матвеев, хотя сейчас перед ним простирался океанский пролив.

У станции метро профессор нашел палатку, где за десятку ему выдали полную тарелку риса с креветками, оказавшегося даже вкусным. Спустившись на платформу, он приготовился к темноте за окнами, но поезд неожиданно взлетел на мост и вид, открывшийся Матвееву, был тоже правдой.

Правдой оказалась и удивительная станция, повисшая над тихой водой канала и сильно запаздывающий автобус. Махнув рукой на ожидание, Матвеев пошел пешком и на удивление даже не заплутал среди строек, гаражей и унылых магазинов с непонятными, запакованными в полиэтилен товарами.

Вода приближалась, чайки клекотали над головой, кружились над жестяными крышами и Матвеев вышел на её набережную, где в ряд выстроились старые краснокирпичные склады. На горизонте вздымалась из океанских волн Статуя Свободы, а наверху пожарной лестницы нужного ему дома трепетал алыми листьями японский клён.

Матвеев никогда не дружил с ключами и сейчас боялся долгой и унизительной возни с замком, но дверь, поддавшись его движению, распахнулась и его ослепил свет, лучащийся из белых стен и огромных складских окон пустынного пространства. Он даже заколебался, переступать ли порог, но за белыми занавесями заворчал знакомый собачий голос и Матвеев пошел вперёд.

За шелком гардин пряталась собачья корзинка и сонная Мушка в ней, поднявшая голову со своим привычным:

— Ppp… нга-нга-нга-нга… ppp …

Не посчитав Матвеева достойным приветствия, она перевернулась на другой бок, а профессор, бросив рюкзак на половицы, рассматривал лампы и фотоаппараты на подиуме и снимки, которыми Аня увешала стены. Профессру показалось неудобным искать на заваленном бумагами столе свои портреты и он просто бродил по комнате, узнавая на её фотографиях город, простирающийся к западу, за океанской водой, и его людей.

Один снимок, чёрно-белый, повесили отдельно и Матвеев понял, что перед ним родители Ани. По одежде очень красивой девушки и парня с камерой, обнимающего её за плечи, профессору стало ясно, что портрет сделали лет тридцать назад. На краю стола лежал тот же томик, который Аня читала на севере.

—В других обстоятельствах я бы ей позвонил, — хмыкнул Матвеев, — но она предпочитает городские телефоны.

Один такой, тоже по виду девяностых годов, стоял на трехногом табурете у двери и Матвеев затосковал по её голосу так, что даже вытащил из рюкзака записную книжку со вложенным туда письмом. Вслед за книжкой на пол выпал кошелек и профессор спохватился:

—Хорош я буду, придя в гости с пустыми руками. Где-то здесь должен быть магазин.

Больше не боясь здешнего ключа, профессор опять очутился на пожарной лестнице, откуда башни острова напротив казались детскими игрушками. Погремев ступенями, спустившись на полузаброшенную улицу, он четверть часа плутал среди гаражей и складов, но всё же вышел к обвешанному яркими рекламами угловому магазинчику, где наливали и скверный кофе.

Матвеев долго искал на полках что-то подходящее, пока уже почти в отчаянии не выудил на свет покрытую пылью бутылку местного виски. Рядом стояла разнообразная водка, но профессору показалось неудобным начинать знакомство именно с неё.

—То есть продолжать, — поправил он себя, — и вообще, не все русские пьют водку.

Матвеев как раз пил, но виски показался ему сейчас более подходящим.

—Всё равно я выгляжу русским, — он расплатился. — Кто еще понесёт по улице выпивку и кофе?

С последним Матвеев покончил, свернув на набережную, но урны рядом не нашлось и он показался себе бедным Василием Петровичем, мыкающимся по незнакомой стране с картонным стаканчиком в руках. До урны Матвеев не успел дойти, потому что он заметил в конце набережной знакомую фигуру.

Так и не избавившись от стаканчика, сунув бутылку в карман куртки, он пошёл навстречу Ане.

Мушка, лежащая между ними в корзинке, блаженно щурилась, а виски в наполовину опустевшей бутылке играло янтарем в лучах заката. Серебристый дымок их сигарет вился над пожарной лестницей, цеплялся за нежно трепещущие листья японского клёна. По воде торопился паром, казавшийся отсюда черной точкой и Аня весело сказала:

—Вы, бедный, плутали в наших переулках, а могли бы приплыть напрямую. Завтра мы с вами прокатимся на Манхэттен.

Матвеев помолчал.

—Завтра я уезжаю, но тоже ночным автобусом. У нас останется целый день.

О другом они не говорили, но Матвеев видел отражение гаснущего над городом света в её синих глазах.

Вспомнив о конверте со снимками в рюкзаке, он добавил:

—Вы увидели меня таким, каким я хотел бы стать. Спасибо.

Аня мимолетно коснулась его руки.

—Вы такой и есть, Дмитрий. Знаете, — она указала вдаль, — что там раньше стояло?

Четверть века назад Матвеев, тогда первокурсник, сначала подумал, что по телевизору крутят рекламу какого-то боевика.

—Башни-близнецы, — кивнул он. — Вы помните тот день?

Аня погладила рыжие уши Мушки и собака лизнула ее руку.

—То фото в студии, — она отпила из своего стакана, — это мои родители. В тот день я была в школе. Я тогда всего неделю как отучилась в первом классе. Папа с мамой уехали на съемки для журнала и больше не вернулись. Отец погиб там, а моя мама...

Аня прикурила сигарету от его окурка.

—Она заболела и меня забрали в приемную семью. Она до сих пор болеет.

Матвеев взял ее руку и уже не отпускал.

—Это та ваша русская родственница, о которой вы говорили?

Аня не вынула пальцы из его ладони.

—Да. Мама была одной из первых моделей из России, работавших здесь. Я увидела её только в восемнадцать лет, когда мне разрешили туда приехать. В детстве я говорила по-русски, но всё забыла и мне пришлось учить язык заново, чтобы читать маме книги. Она меня узнаёт, — Аня прервалась, — иногда. Знаете, Дмитрий, у каждого из нас есть своя тёмная комната.

—Раньше я тоже жил в ней, — ответил Матвеев, — и не хочу больше туда возвращаться.

—Не вернетесь, — ответила Аня и они замолчали.

Матвеева охватила чистая, доселе не испытанная им радость. Он сидел, сторожа тишину засыпающего города, слушая размеренное дыхание дремлющей рядом Ани, сидел, пока солнце не превратилось в брусничный отсвет над дальними башнями, пока на сумеречных улицах не замерцали тусклые фонари

Ангел

На следующий день после большого шторма Ангел купила творог. Ей захотелось поесть сырников со сметаной на фарфоровой тарелке с позолотой, сидя на балконе, под которым в мае пышно цвела генеральская сирень, как ее называли последние еще живые соседские бабки.

На той стороне Садового кольца в синем московском небе громоздился утес высотки на Краснопресненской. Балкон выходил во двор, где покойная бабушка Ангела разводила георгины. Ранним летом там появлялись соловьи, поющие и на даче в Малаховке, где раньше жил прадед Ангела, нарком и министр, женившийся в тридцатых годах на звезде московских театров, в честь которой и назвали Ангела, Ангелину.

Её ноги, десять лет прыгавшие в народных танцах и волейболе, крутили педали велосипеда, купленного по дешевке на третий день после того, как Ангел с мужем, еще словно ударенные пыльным мешком по голове, получили от зевающего аэропортовского чиновника временные удостоверения личности и конверты с деньгами.

Ангел могла найти творог, купить велосипед и устроиться на работу в любой стране мира. Через неделю она стала ассистентом Харона, как говорил ее местный начальник, проводящий больше времени в родном Париже. С началом войны старики, словно сговорившись, принялись умирать и практику завалили дела по наследству.

Ангел, в Москве имевшая адвокатский кабинет, здесь разбирала стариковские пожитки, увязывая бечевкой отправляющиеся на помойку книги, снимая со стен картины и аккуратно упаковывая фарфор из горок, похожих на мебель в их родовой квартире, где сейчас обреталась семья Ангела, считавшая ее поехавшей рассудком.

— Все думают, что ты дауншифтишься, — сказала ей младшая старшая сестра в недавнем разговоре. — Хватит маяться дурью. Возвращайся и даже твой новый паспорт не помеха. Половина Москвы тоже сбежала от ваших обстрелов.

Частые в последнее время сирены и раньше не беспокоили Ангела, которая всегда спала очень крепко.

Сверкая спицами колес, Ангел объезжала лужи и сорванные с деревьев ветки, алкоголиков, появляющихся на бульваре после остановки трамвая и промокшие картонки с вялыми овощами, выставленные на тротуар хозяином углового магазина, где Ангел покупала мандарины и мороженое для Петечки, о котором ее семья пока ничего не знала.

Миновав дурно пахнущую сумасшедшую старуху, в любую погоду сидящую на бульваре в черном гипюре и норковой шапке, Ангел свернула в свой переулок как раз перед холщовыми зонтиками кафе, под которыми целыми днями кучковались местные бездельники в винтажном «Адидасе».

Запах пережженного кунжутного масла и гниющего мусора, витающий на улочке, только усугублял головную боль Ангела. Напротив, на китайском балконе, как его звала Ангел, парусились под ветром с моря одинаковые футболки и штаны. Петечка, видимо, сидел внутри, щелкая соленые семечки с китайцами, заливаясь трелями их чудесного птичьего языка.

Ангел подобрала будущего мужа в Тбилиси, куда она улетела, сообщив клиентам, что они могут перейти к другим адвокатам. Практику она потеряла, однако в запасе у Ангела были кое-какие деньги, позволившие ей шататься по кофейням.

Петечка, аспирант МГУ, приехавший в Грузию в кедах и с ноутбуком, болтался по тем же кофейням и обучал китайскому. Ангел с Петечкой, расписавшись в местном ЗАГСе, стали ждать консульской проверки.

—И дождались, — она вышла на балкон с сигаретой. — Только теперь непонятно, куда ехать дальше.

Ангел с Петечкой обитали в квартире, переданной им московскими ребятами, после начала войны рванувшими в Канаду, где израильтянам давали рабочую визу.

Напротив открыли дверь и Ангел позвала:

— Я творог купила! Будешь сырники?

— Оставь мне в холодильнике, — ответил муж. — Мы играем в маджонг.

Китайцы развесили рядом с бельем зловонную вяленую рыбу.

— Хорошо! – Ангелу пришлось перекрикивать пронесшийся над кварталом голос муэдзина.

Нырнув в пока прохладную полутьму квартиры, она отправилась на кухню.

Этой ночью опять выла сирена. Ангел, обычно даже не открывающая глаз, отчего-то проснулась. Их кровать стояла на тесной антресоли, где даже Петя, ниже ее на полголовы, не мог распрямиться как следует. Зимой здесь царил сырой холод, короткой весной плодились комары, а раскаленным летом было нечем дышать. Кондиционер они не включали экономии ради.

Сирена все надрывалась. Петя, уткнув голову в подушку, что-то пробормотал. Полагалось немедленно отправиться в бомбоубежище или хотя бы на лестницу, но в доме, разделенном на узкие клетушки квартирок, все давно махнули рукой на правила.

Накинув халат, Ангел вышла с сигаретой на балкон. Вокруг заливались лаем проснувшиеся окрестные собаки. Наверху забухало и небо окрасилось волшебным золотым светом. Той неделей обломки ночной ракеты упали на загаженный мусором кусок травы на другой стороне бульвара. В стоящем рядом доме выбило стекла.

Ангел не боялась обстрелов и ей не хотелось думать о войне. Петя говорил, что она прячет голову в песок, но Ангел отмалчивалась. О гражданском сознании, как называл это муж, ей хотелось думать еще меньше.

После сирены она ворочалась еще пару часов и поднялась в пять, с тяжелой головой и скрипящим в горле предчувствием простуды. Ночи еще оставались зябкими.

Петя, упорно сопротивляющийся наемной работе, спал до полудня, а Ангела в семь утра ждали на ее еженедельной уборке – пентхаусе на набережной, где она приводила в порядок захламленные за неделю апартаменты.

Ангел ценила хозяев квартиры, элегантных французских репатриантов, за немногословие и хрустальный бокал, ждущий ее на кухне рядом с бутылкой минералки. Платили ей наличными и, как выражалась ее покойная бабушка, не капали на мозг.

Ангел вспомнила бабушку, стоя над газовой плиткой на тесной кухоньке. Спросонья она забыла разбить яйцо для омлета в отдельную плошку, как всегда делали в ее семье и не заметила желто-кровавую жижу на сковороде. Отвращение заставило ее завернуть сковороду вместе с жижей в пакет.

Быстро проглотив кофе и простоквашу, она нацарапала на клочке бумаги:

«*Поешь сырники и купи яйца. Сковородку я привезу*».

Французы никогда не отпускали ее без какой-нибудь ненужной им милой ерунды. Ангел, с ее волейбольным ростом и сороковым размером ноги, не помещалась в вещи хрупкой хозяйки, однако в бумажной сумке у двери появлялись то мраморная разделочная доска, то бутылка хорошего вина или едва тронутый флакон духов.

— Выбросьте, пожалуйста, если вас не затруднит, — просила хозяйка и Ангел почти любила ее за мимолетную, заговорщическую улыбку.

Выводя велосипед из подъезда, она вспомнила, что бабушка считала кровь в яйце дурной приметой. Ангел решила, что если французы отдадут ей сегодня сковороду, то плохое уравновесится хорошим.

Китайские строители из халупы напротив выезжали на бульвар на электрических велосипедах. Зазвенел трамвай и Ангел закрутила педали на север.

Французов не оказалось дома, но ключи и деньги в конверте ждали Ангела у консьержа, всегда смотрящего на нее как на пустое место. Вместо сковородки Ангел выудила из пакета за дверью квартиры леопардовый пояс со знакомой золоченой пряжкой, вещь из ее прошлой жизни премьер в Большом и обедов на Патриарших. Протянув его в шлейки джинсов, Ангел поехала домой.

Сковороду она купила в магазине на бульваре, потом позволив себе кофе в палатке на другой стороне, где хозяин всегда улыбался ей и спрашивал, как дела.

Ангел посидела блаженные пять минут, вытянув ноги в старых кедах, покуривая на выглянувшем солнышке. Заведя велосипед в подъезд, она толкнула дверь квартиры, которую Петечка никогда не закрывал.

Дома царила гулкая пустота. Связку ключей бросили поверх ее утренней записки.

«*Улетел работать в Китай*», — приписал Петечка. «*Деньги скоро верну. Подай на развод, если хочешь*».

Он, видимо, предполагал, что Ангел может не хотеть развода. Брякнув проклятую сковороду на стол, Ангел зашла в банковское приложение. Петечка оставил ей двадцатку, которой хватило бы на еще один кофе.

Оседлав расшатанный стул, Ангел сначала хотела написать летящему где-то над Ближним Востоком Петечке все, что она о нем думает, но телефон ее опередил.

«*Завтра в семь утра*», — далее следовал адрес. «*Семья делает ремонт, поэтому надо быстро все рассортировать*».

«*Буду*», — коротко ответила Ангел пребывающему в Париже боссу.

Запал ругаться с Петечкой, который все равно не мог ей ответить, пропал. Ангел провела остаток дня, разбирая вещи для грядущего обмена одеждой. Ее вещи висели в принесенном с помойки шкафе и даже трусы на Ангеле были куплены в благотворительном магазине. Женщина с райским именем, как звал Ангела отбывший из ее жизни Петечка, экономила по-адски.

Наконец свалившись на диван с самокруткой, Ангел вспомнила о плане переезда в Португалию, для которого и предназначались позаимствованные Петечкой деньги.

—Чтобы ему ни дна ни покрышки, — Ангел сунула ноги во вьетнамки.

Пора было идти за яйцами, которых Петечка тоже не купил.

Ночью опять заливалась сирена, но Ангел, заранее спрятав голову под подушку, ее не слышала.

Адрес, присланный боссом, оказался на севере города, на круглой площади, в центре которой торчали три строящихся небоскреба, притворяющиеся Нью-Йорком. Внизу в кафе притворялись Парижем. Потратив немного вчерашних денег на круассан, Ангел сжевала его в компании местных бежевых мамочек и лохматых собачек.

У двери нужного ей подъезда стоял грузовик, рядом с которым размахивали руками три мужика. Ангел вспомнила, как ее с сестрами дразнили в школе.

—Вышло трое из ларца, одинаковых с лица, — пробормотала она.

Эти тоже были близнецами и младшим, и Ангел поняла, что и здесь младшего, как и ее, баловали и оберегали.

Один из близнецов, лет сорока, носил зеленую военную форму и вязаную кипу, а белая рубашка второго, в такой же кипе и при небольшой бородке, еле справлялась с напором его живота. Черный пиджак он снял, легкомысленно повесив его на палец. Младший, по виду ровесник Ангела, в джинсах и кедах, израильтянином не выглядел и в его усталом лице Ангел прочла недавний трансатлантический перелет.

Ей редко приходилось иметь дело с наследниками умерших, с которыми общался ее начальник. Ангел заходила в пустые квартиры, с не выветрившимся лекарственным духом, отвратительно захламленные или, наоборот, вылизанные до блеска. Она занималась книгами и картинами, безделушками и бессмысленными вещами, клубящимися вокруг живого человека и теряющими смысл после его смерти.

Что хозяин гастронома делал со старинными песочными часами с гравировкой на латыни? Зачем бывшей учительнице альбом выцветших афиш китайской оперы? Для чего редактору газеты понадобился самодельный мешочек для носовых платков с вышивкой на французском: «*Дорогой дочке к ее первому причастию*»?

Ангел бросала вещи в пластиковые мешки и картонные коробки, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть почерневшее серебро пробки для вина или деревянный держатель для писем с вырезанным на нем грустным пеликаном.

Нацепив на лицо сочувственное выражение, раньше приберегаемое ей для клиентов, Ангел промаршировала к братьям. Она давно выучила наизусть требуемые слова.

—Здравствуйте, я от адвоката Леви, — Ангел помахала визитной карточкой босса. — Мне очень жаль. Я убираю квартиры и...

Она проговорила все по-английски и брат в черном пиджаке неприязненно уставился на нее.

—Теперь нам надо подняться наверх, — сказал он. — Должен же кто-то проследить, чтобы ты ничего не украла.

Ангел все это уже слышала и не обижалась на людей в горе. Братья заговорили на иврите и она поняла, что младший останется на улице при грузовике. Ведомая близнецами, Ангел двинулась к подъезду.

Квартиру неизвестной ей женщины можно было отправлять в музей дизайна. Ангел бродила среди модерна середины прошлого века, узнавая тонконогие столики, лакированные консоли и крутящиеся кресла. На беленой стене, напротив ярких пятен абстрактной картины висела фотография кудрявой девушки в дерзком платье, похожей на сестер Ангела. Ее старшая старшая сестра, матушка в ярославском приходе, всегда стриглась именно так.

— В Москву, в Москву, — вспомнила Ангел, — а куда из Москвы? Или куда отсюда?

— Свари нам кофе, — очнулась она от голоса пиджака.

Армейская форма, плюхнувшись в кресло, напряженно листал телефон.

— Пожалуйста, — Ангел распаковала рабочую сумку и пиджак схватил средство для мытья окон.

— Что «пожалуйста» и что это такое? — он повертел бутылку.

—Пожалуйста, сварите нам кофе, — терпеливо повторила Ангел, — а это экологически чистое средство. У меня аллергия на сильные запахи.

У нее действительно болела голова от хлорки и других ядерных жидкостей, которыми здесь поливали все подряд.

—Пожалуйста, — буркнул пиджак.

Ангел пошла на кухню, тоже начищенную до блеска, где в пустых шкафах болталась только картонная коробка с капсулами для кофе.

Братья остались в гостиной, а она передвигалась по комнатам с корзиной банок и тряпок, снимая со стен фотографии, где та молодая женщина, теперь постарше, держала на руках близнецов, где она, с мужем в военной форме и подросшими близнецами, трясла погремушкой перед младенцем в ползунках, где близнецы-подростки в одинаковых пиджаках улыбались под гроздью белых и синих шариков, а младший брат, сидящий между ними на трехколесном велосипеде, дудел в трубу.

Ангел клала в коробки английские и французские книги, вытаскивала из гардероба аккуратно расставленную обувь и ворох запутавшихся шелковых платков, заклеивала скотчем картон и завязывала пластиковые пакеты.

Последнее ненужное она нашла на закрытой лоджии, рядом с сушилкой для белья. В матерчатом гнездышке умостилась какое-то рыжее, голенастое создание.

Присев, Ангел взглянула в грустные темные глаза. Песик слабо помахал хвостом и она прочла гравировку на ошейнике.

—Фредди, — Ангел поднялась. — То есть Федя.

Ей еще никогда не приходилось убирать квартиры с животными. В гостиной братья курили над пустыми чашками с кофе.

—Там собака, — сказала Ангел как-то по-дурацки. — Что с ней будет?

Военная форма оторвался от телефона.

—Не знаю, — он нахмурился. — Мы еще не думали. Мы привезли его сюда в октябре, после...

Форма махнул рукой.

—В общем, из кибуца. Он убежал, спрятался и выжил. Мама почти не бывала в этой квартире, она предпочитала кибуц.

—Вы извините, — неожиданно вежливо сказал пиджак, — наша мать была заложницей в Газе, позавчера нам вернули ее тело, вчера мы ее похоронили, у нашего младшего брата истерика, а здесь вы с собакой...

—Давайте, я его заберу, — сама того не ожидая, предложила Ангел. — У меня всегда были собаки. Ненадолго или если хотите...

В конце ей вручили и сумку с Фединым барахлом и шелковый платок, из которого Ангел смастерила что-то вроде перевязи. Она не была уверена, что Федя не выпрыгнет из корзинки на ее велосипеде.

Пиджак отдал ей конверт с деньгами в передней.

—Мы здесь вычли за собачьи вещи, — сказал он и Ангел не стала спорить.

—Сейчас поедем домой, — шепнула она псу в лифте и тот нерешительно лизнул ее палец.

Внизу Ангел прошла мимо третьего брата, погруженного в телефон. У открытого грузовика переговаривались по-арабски грузчики. Безумие мира охватило Ангела и она встряхнула коротко стриженой головой. Федя пискнул что-то от ее груди и Ангел спохватилась.

—Едем, едем.

День разгорался золотым светом и белые простыни, вывешенные на балконах, взлетали парусами в лазоревое небо.

В выложенном узорчатой плиткой подъезде Ангел выпустила Федю на лестницу. Собака деловито взобралась наверх и она погладила мягкие уши.

—Завтра поедем на море, будем есть пирожки.

Ангел сама придумала себе такой ритуал.

Сирена на этот раз завыла в самой глухой ночи и Федя, спящий у ее острых коленок, жалобно заплакал и затрясся. Схватив его в охапку, Ангел бормотала что-то глупое, нежное, пока карта на экране ее телефона алела новыми точками. Потом все стихло и пес заснул, положив мокрый нос на плечо Ангела.

Вытянувшись на спине, рассматривая низкий потолок антресоли, Ангел вспомнила ночь в Тбилиси, когда, выходя с очередной вечеринки под руку с пьяненьким Петечкой, она едва не наступила на несчастного блохастого щенка.

Найдя в сбитой простыне телефон, Ангел отыскала последнее фото, присланное ей старшей старшей сестрой.

Пес, которого Ангел отправила на перекладных в Ярославль, теперь жил свою лучшую жизнь в окружении ее четверых племянниц, дочерей старшей старшей сестры, и ее мужа,

тихого очкастого батюшки, удивительным образом одновременно похожего на всех русских классиков.

Ангел ответила на то сообщение своим обычным стикером, но сейчас ей отчего-то захотелось написать сестре.

—Но не в три же часа ночи, — она умостилась на боку, — и я не пишу им, потому что...

Федя забеспокоился, обнюхивая ее щеку и Ангел послушала стук его сердечка.

—Я не плачу, — сказала она собаке. — Не плачу.

Следующим утром на трамвайные пути и булочные, на пустынные мостовые и эвкалипты в парке у старой железнодорожной станции сошел тихий шабат.

Ангел больше всего любила такие приморские утра, когда надо было надевать хлопковый свитер, когда холодок щекотал ее щиколотки, а в корзинке велосипеда лежал термос с кофе и книга. Теперь по соседству с ними устроился Федя, с интересом осматривающий бульвар и светофоры.

—Ты, наверное, никогда не был на море, — сказала ему Ангел. — Море, оно большое.

Сойдя с велосипедом на серферский пляж, куда водили и собак, она остановилась перед туманной массой моря. У края прибоя, рядом с инвалидной коляской, сидел парень, а по соседству с ним лежал большой всклокоченный пес.

К спинке коляски приторочили короткую доску для серфинга.

Выбравшись из корзинки на песок, Федя неуверенно огляделся и парень, обернувшись, что-то сказал.

—Я не говорю на иврите, — вздохнула Ангел, которой стало неловко.

У парня не было ног.

—Она безобидная, — перейдя на английский, парень погладил овчарку по спине. — Старая уже и плохо видит.

Ангел услышала, что парень, как и она, тоже репатриант, только англоязычный. Федя, осмелев, обнюхал коляску и овчарка, тяжело поднявшись, затрусила к воде.

—Ты тоже иди, — сказала Ангел Феде. — Поиграйте.

Пес робко двинулся вперед и Ангел поняла, что он никогда не видел моря.

Ей захотелось рассказать парню о вчерашней уборке, о теле старой женщины, вернувшемся домой, о собаке, уцелевшей там, где убили жизнь и о себе, потерявшей родину, но Ангел только передала ему термос.

—Хотите кофе? Капсулы из кошерного магазина, а больше там ничего нет.

—Даже если бы и было, — отпив, парень улыбнулся. — Хороший. Хотите сигарету? Мы с ней, — он кивнул на собаку, — вернулись оттуда и теперь папа привозит нас сюда по субботам, чтобы мы искупались. Это моя старая доска, с довоенных времен. Моя семья...

Он щелкнул зажигалкой.

—У вас есть семья?

—Была, — ответила Ангел.

Они замолчали, глядя на блики огненного рассвета на серой воде.

Улица Пушкина

Больше всего Фридману мешали засохшие цветы и птичий помет. Смывая его из шланга, Фридман рассматривал лазоревую бесконечность моря, одновременно и лежащего внизу и простирающегося рядом.

Иллюзия завораживала — и Фридман невольно делал шаг к воде, но крышу ради безопасности огородили толстым стеклом, смысл которого теперь пропал, как исчезли туристы, раньше наполнявшие и пляж, и бассейн на высоте тридцатого этажа гостиницы, опустевшей с начала войны.

Цветами раньше занимался веселый Илан, приезжавший в гостиницу на пикапе, разрисованном яркими розами. До войны Фридман получил от него саженец лимона, прижившийся на его балконе. Илан показал ему фотографии своего южного кибуца.

— Это мои мама и папа, — сказал парень, — а это наш розарий, лучший в стране. Приезжай на шабат, — он улыбнулся, — от Ашкелона до нас недалеко — и мы встретим тебя на станции.

Фридман все еще удивлялся тому, как легко здесь приглашают в гости. Его напарник по уборке крыши, бородатый Азриэль, являвшийся на работу в штанах-самостроках и ярких хламидах, звал Фридмана в Димону, где у напарника было три жены и десять детей. Фридман сначала принял Азриэля за эфиопа, однако английский у того был безукоризненным.

— Мои родители приехали сюда из Чикаго, — объяснил Азриэль. — Мы верим, что наши предки были евреями.

В Димону напарник уезжал в четверг после работы. Остальное время Азриэль проводил в снятом по дешевке сарайчике на крыше развалюхи по соседству с гостиницей, где он валялся в гамаке, попивая самодельное вино, бренча на калимбе и стуча по барабанам. Фридман после работы спускался на полупустой пляж и окунался в море, отворачиваясь от гостиницы, от города, от страны и от мира.

Болтаясь тюленем в соленой воде, он шевелил крючковатыми пальцами на ногах, которые не нравились ему и в лучшие времена, а в начале шестого десятка Фридман и вовсе возненавидел свои медленно желтеющие, толстые ногти. Потом он одевался и ехал вдоль набережной на десятом автобусе, безучастно скользя глазами сначала по вывескам на иврите, которые после Часовой башни сменялись арабскими — и Фридман чувствовал себе немного Йоной в чреве кита, а потом арабские буквы уступали место русским — и Фридман нажимал на красную кнопку звонка.

Автобус изрыгал его в панельные ущелья Бат-Яма, где Фридман весной позапрошлого года снял по дешевке деленку, имея в виду найти порядочную работу и переехать в место получше, однако пока он все оставался в своей однушке с выложенным плиткой полом и трупами тараканов за рассохшимся шкафом.

По дороге в деленку Фридман покупал в русском магазине черный хлеб, кабачковую икру и немного докторской колбасы. Он экономил деньги, сам не зная для чего. Бывшая его жена в них не нуждалась, а служащий в армии сын — тем более.

Дома Фридман садился с кофе и бутербродом на балконе, слушая шум моря, спрятанного от него рядами хрущевок на курьих ножках, думая о том времени, когда он возьмет из приюта рыжего пса с янтарными глазами, когда они по вечерам будут ходить на пляж и вместе прыгать в набегающей волне.

Цветы на крыше гостиницы засохли после седьмого октября, когда ничего не осталось ни от кибуца на юге, ни от лучшего в стране розария, ни от мамы и папы Илана, а сам он ушел воевать.

Старший сын Азриэля тоже призвался в армию, и под Хануку, зайдя в служебный вход гостиницы, Фридман натолкнулся на сразу две поминальные свечи.

Азриэль так и не вернулся на работу, оставшись в своей Димоне, и Фридману теперь приходилось трудиться за двоих. Воду из бассейна давно спустили, гостиница наполнилась беженцами с севера и юга, но Фридмана все равно отчего-то беспокоили засохшие цветы.

Начальник смены, выслушав его корявый иврит, отмахнулся.

— После войны выбросим и купим новые. Туристов сейчас нет, а беженцам и так сойдет.

Фридману хотелось спросить, что станет со страной, которую, видимо, тоже выбросят, чтобы купить новую, однако он закрыл рот, только поливая жухлые розы из шланга. Недавно

самый маленький куст, словно очнувшись, произвел на свет невзрачный бутон — и Фридман обрадовался ему как собственному ребенку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.